

# Роман о Пушкине\*

*Р. Г. Назиров*

*Предыдущие части романа публиковались в: «Назировский архив» 2014, № 4, «Назировский архив» 2016, № 4.*

*Главы расставлены в соответствии с планом, который находится в оп. 1, д. 79, л. 79–2-36. В этом плане глава «Пергаменты и утопии» отсутствует. Относительно неё есть специальная помета:*

## Пергаменты и утопии

Глава вставляется в разрез «Гаданья мадам Кирхгоф», но после самого гаданья.

От главы «Кирхгоф» оставить 7 страниц. Только начало переделать.

Значит, «Пергаменты и утопии» — глава 10-я.

(оп. 1. д. 79 л. 79–2-44)

*В то же время глава «Гаданье мадам Киргоф» значитесь в используемом плане под номером 7 и предшествует другим публикуемым здесь частям, например, «Хрустальная душа» имеет номер 8. Таким образом, эта нумерация не соответствует той версии плана, дополнением к которой служит приведённая выше помета.*

*Б. В. Орехов*

## Пергаменты и утопии

В середине XV века в Рязани жил боярский сын Василий Алаповский, у него было три сына: Иван, Есип и Иов. В 1488 году старшие из них Иван Муравей и Есип Пуща были переведены на поместье в Новгород. Рязанский род Алаповских (от Иова) давно угас, а от старших пошли Муравьевы и Пущины. Родовые имена произошли от прозвищ Ивана Муравья и Есипа Пущи.

В начале царствования Екатерины генерал-майор Муравьев женился на Елене Апостол, внучке украинского гетмана Данилы Апостола. Сын их Иван присоединил к родовому имени и гетманово имя, стал называться Муравьев-Апостол. Он славился салонной любезностью, писал стихи,

---

\* Публикация выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в рамках научного проекта № 16-14-02008.

был российским послом в Гамбурге и Мадриде, а потом членом Коллегии иностранных дел и сенатором.

Три сына Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, несколько просто Муравьевых и Иван Пущин (лицейский друг Пушкина) оказались в конце александровой эры в числе виднейших заговорщиков.

Компания у них была отличная: князь Оболенский (Рюрикович), князь Одоевский (Рюрикович), князь Трубецкой (Гедиминович) — все князья «не по грамоте». Все они были познатнее самих Романовых. Пыль родословных книг и пергаментных хартий язвительно напоминала об их давних преимуществах перед царствующей династией. Да и откуда взялась эта династия?

При Иване Калите жил на Москве боярин Андрей Кобыла. Происхождение его неизвестно, в летописи он упомянут один раз. По родословной у него значилось пять сыновей, от которых пошли несколько знатных родов. Пятый из сыновей Кобылы был Федор Кошка, игравший видную роль в княжении Дмитрия Донского и его сына Василия, от этого Федора Кошки пошли Романовы и Шереметьевы.

Мало того, что они уступали знатностью отпрыскам Рюрика и Гедимины. После Петра Великого Романовы перемешались с немецкими князьками. Петр III был наполовину немцем: отец его был герцог гольштейн-готторпский, а матушка — царица Анна Петровна. Павел Петрович, сын Петра III и Екатерины, был русским на четверть, а его сыновья — на осмьюшку. Напрасно наемные перья доказывали, что Андрей Кобыла на самом деле был литовский князь Камбила. Рюриковичи прятали усмешки в свою табакерку, а про себя ведали, какая это была «Камбила».

Романовы не вызывали особого почтения. Матушка Екатерина довела казаков и холопей до неслыханного бунта, Павел разорил знатнейшие фамилии, возвысив своего брадобрея Кутайсова и гатчинского каптенармуса, а теперь Александр Павлович совсем замолился, отдал власть в руки одного каптенармуса — темного хама Аракчеева, а тот того и гляди доведет дело до новой пугачевщины. Дворянство было недовольно.

Но были среди дворян и такие, которые прямо-таки стыдились, что в России еще сохранилось рабство. Еще в 1816 году флигель-адъютант государя Павел Киселев, участник Бородинской битвы, подал Александру I записку о постепенном освобождении крестьян от крепостной зависимости.

В 1818 году малороссийский генерал-губернатор князь Репин в речи к полтавскому и черниговскому дворянству призывал помещиков к добровольному ограничению крестьянских повинностей; он вызвал этим живейшее недовольство землевладельцев, которые рассматривали его как

отступника от своих.

В том же году Николай Тургенев издал свой «Опыт теории налогов»: впервые в России гласно и в тоне научной объективности было заявлено о необходимости уничтожения крепостного права. Адмирал Мордвинов подал государю проект конституции. Свои проекты уничтожения рабства составляет и Егор Францевич Канкрин, финансовый деятель, не скрывающий своего презрения к министру Гурьеву. Весь 1818 год проходит в таком возбуждении умов, и государь как будто поощряет эти проекты. Во всяком случае — в принципе.

Но люди, считающие, что пока солнце взойдет — роса очи выест, не верят обещаниям императора. В Союзе Спасения (он с 1817 года называется «Обществом истинных и верных сынов Отечества») в глубокой тайне готовят переворот с введением конституции и уничтожением рабства; доходят до планов царевубийства. В начале 1818 года, после роспуска Союза Спасения, на его основе возникает новое общество — более дееспособное и более численное. Оно называется «Союзом Благоденствия».

Одним из гнезд становится приличный дом на Фонтанке, где жили Карамзин, Батюшкин, Кипренский, а также Муравьевы.

Никита Муравьев играл в тайном обществе все возрастающую роль. Пушкин часто бывал у Муравьев, чувствуя, что за таинственными намеками и оговорками в этом веселом и дружном обществе что-то кроется. Он знал, что от него скрывают какую-то деятельность, но полагал что его друзья просто масоны. С одной стороны он стремился к посвящению в их тайны, с другой — его отпугивала серьезность этих людей. Он знал что масоны требуют от своих братьев нравственного поведения, а ему не хотелось расставаться с вольной молодостью.

Когда он пытался спрашивать, от него отделялись шутками и просили стихов. Долго сердиться он не умел.

## II

В начале 1819 года Пушкин получил записку от Николая Тургенева: «Дорогой друг, в среду у меня соберутся люди, коим предстоит составить редакцию нашего Монитера. Ты знаешь, как сильно я на тебя рассчитываю. Итак, жду тебя к пяти часам, мы будем читать статьи для первого номера. Твой Николай Тургенев».

Пушкин был посвящен в планы издания политического журнала. Николай хотел издавать его легально, исподволь проводя в нем идеи Союза Благоденствия. Во вторник Пушкин играл у Никиты Всевожского, сначала выиграл пятьсот рублей, потом все спустил, запил неудачу шампанским и вернулся под утро домой. Раздраженные нервы обеспечили ему

бессонную ночь, он писал свою поэму, лег под утро и проснулся к обеду. Им овладела хандра. И к Тургеневу он опоздал.

— Уже собрались? — спросил он у лакея, отдавая ему шубу.

— У Николая Иваныча сидят, батюшка Александр Сергеевич. — отвечал лакей.

Пушкин вошел во время чтения. Его лицейский товарищ Маслов, сидя рядом с хозяином, читал что-то о статистике. На видном месте восседал Куницын, любимый лицейский профессор: в те годы, частями печатался его труд «Право естественное». Пушкин сразу понял, что состав заседания подобран весьма определенным образом. Он тихонько уселся и лишь тогда обнаружил, что прямо перед ним сидит Иван Пуцин, его первый лицейский друг. Пушкин взял его за плечо, тот обернулся.

— Что ты здесь делаешь, Жанно? — шепнул Пушкин ему на ухо, — Наконец, поймал тебя на самом деле.

— Тсс! Слушай Маслова. — ответил с улыбкой Пуцин.

По окончании чтения Пушкин спросил:

— Верно, это ваше общество в сборе?

— Я тебе говорил уже, что нет у нас никакого общества. — нехотя ответил Пуцин — есть дружеские беседы без чинов и без устава, только трезвее ваших.

Пушкин рассмеялся, но не поверил. Он с большим основанием предполагал что в тайном обществе должна быть строжайшая конспирация.

— Что ты думаешь о статье Маслова? — спросил Пушкина хозяин.

— Я опоздал и не все слышал, а впрочем дельно, — ответил Пушкин. — Только почитаю сие не главным.

— Что же главное?

— А главное, как говаривал еще фернейский патриарх: *esra sez lin'fame*. Нужно как можно прямее проводить в будущем нашем издании мысль о том, что участь трехголовой гидры предрешена.

— Трехголовой гидры? Что ты хочешь сказать, дорогой друг?

— Три головы — самовластие, фанатизм и невежество!

Завязался общий разговор, в котором повторялась одна и та же идея: крепостное право подлежит уничтожению.

Куницын негромко заговорил, и все замолчали:

— Прежде всего, отечеству нашему необходима конституция, общее вотирование и правительство, ответственное перед палатами. России пора занять подобающее место в сонме цивилизованных держав. Наши упования имеют опору в примерах минувших веков: вольность в самой природе славянского племени, наши летописи хранят память Господина Великого Новгорода. Славянское вече — вот истинная демократия наших предков.

— А Земский Собор не может ли похвастаться подобием Генеральных Штатов?

— Исправить нарушения древнего социального контракта славян — наш долг! — вскричал Пушкин.

Глаза его сверкали, хандру как рукой сняло: в атмосфере заговора он чувствовал себя как в родной стихии. Пуштин наблюдал за ним внимательно и задумчиво. Он колебался. Стоило бы открыть Пушкину правду о Союзе Благоденствия. . . Но самолично Пуштин не в праве был принять такое решение.

### III

«Зеленая лампа», тайный литературный клуб в доме Никиты Всевожского, превратился в филиал Союза Благоденствия. Ламписты давали клятву о сохранении тайны, как и члены Союза; за круглым столом в гостиной Всевожского шли разговоры о французской революции. Пушкин в красном колпаке якобинца читал свои мятежные оды и непристойные эпиграммы на его величество, на Аркачеева, на Стурдзу. Здесь же редактор журнала «conservateur impartial» Александр Улыбышев читал свои статьи «Письмо другу в Германию», «Беседы Наполеона с английским путешественником» и «Сон». Они не были рассчитаны на тиснение, по крайней мере, в ближайшем будущем, и представляли собой изложение в художественном виде идей Союза Благоденствия.

«Сон» Улыбышева произвел на лампистов сильное впечатление. Автору «снится», что он находится в Петербурге, но не узнает его. «На каждом шагу новые общественные здания привлекают мои взоры, а старые, казалось, были использованы в целях до странности непохожих на их первоначальное значение».

На фасаде Михайловского замка автор читает надпись золотыми буквами: «Дворец государственного собрания»; Аничков дворец стал Русским Пантеоном; общественные школы, академии и библиотеки заняли место бесчисленных казарм, коими был переполнен «прежде» Петербург, на Невском проспекте вместо монастыря высится триумфальная арка, «как бы воздвигнутая на развалинах фанатизма». В великолепном храме, превосходящем все памятники римского величия, звучит прекрасная музыка и идет богослужение, но оно ничем не похоже на христианское.

Автор спрашивает почтенного старца, какой веры его сограждане, старец отвечает:

«Вот уже около трех веков, как среди нас установлена истинная религия, т.е. культ единого и всемогущего бога, основанные на догме бессмертия души, страдания и наград после смерти и очищенный от всяческих связей с человеческим и суеверий. Мы не обращаем наших молитв

ни к пшеничному хлебу, ни к омеле с дуба, ни к святому мирру, — но к тому, кого величайший поэт одной нации, давней нашей учительницы, определил одним стихом: «Вечность имя ему, и его создание — мир». Среди простого народа еще существуют старухи и ханжи, которые жалеют о старых обрядах. Ничего не может быть прекраснее, говорят они, как видеть архиерейскую службу и дюжину священников и дьяконов, обращенных в лакеев, которые заняты его облачением, коленопреклоняются и поминутно целуют его руку, пока он сидит, а все верующие стоят. Скажите, разве это не было настоящим идолопоклонством, менее пышным, чем у греков, но более нелепым потому что священнослужители отождествлялись с идолом. Ныне у нас нет священников и тем не менее — монахов. Всякий верховный чиновник по очереди несет обязанности, которые исполнял я сегодня. Выйдя из храма, я займусь правосудием. Тот, кто стоит на страже порядка земного, не есть ли достойнейший представитель бога, источник порядка во вселенной? Ничего нет проще нашего культа».

Улыбышев намекает в своей утопии на великие события, сокрушившие деспотизм в России. Оковы, державшие нацию в рабстве, разбиты.

«В это время мы находились посреди Дворцовой площади. Старый флаг вился над черными от ветхости стенами дворца, но вместо двуглавого орла с молниями в когтях я увидел феникса, парящего в облаках и державшего в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника». И мудрый старец поясняет автору, что давно уж отрублены две головы орла, которые обозначали «деспотизм и суеверие».

Старец зовет Улыбышева в прекрасное здание, которое видно за Невой. Это Святилище правосудия, где заседает спутник автора. Улыбышев хочет перейти мост, но внезапно просыпается.

Он просыпается от воплей пьяного мужика, которого тащат в участок под звуки рожка и барабана. «Я подумал что исполнение моего сна еще далеко». Так закончилась утопия «Сон».

Чтение Улыбышева вызвало шумное обсуждение. Пушкину не понравилось, что христианскую церковь, автор заменил какою-то новою, надуманной религией. Однако политические предсказания Улыбышева были по сердцу лампистам.

Пушкин переживал сложный год, он метался, искал точку опоры. В полном друзей Петербурге, ему не всегда находилось, с кем отвести душу.

Дельвиг, милый Дельвиг, ленивый и беспечный античный мудрец, был скромн, и великие политические вопросы не трогали его: он соглашался со всем, что говорил Пушкин, но скромно оставался в стороне от политической лихорадки тех необычных лет.

Честный Жанно был серьезнее Дельвинга, но он был строг к Пушкину, вел себя, как старший брат с младшим, и многое скрывал: принужден был скрывать, это Пушкин хорошо понимал.

«Арзамас» приказал долго жить. У Никиты Всевожского было чертовски весело и интересно, но все же это была молодая компания, к «Зеленой лампе» в Союзе Благоденствия относились с улыбкой. Грибоедов, с которым Пушкин начал было сходить, уехал в Персию. Катенин, человек умный, но тяжелый, кажется не лишенный некоторой завистливости, никогда не признавал себя не правым. Отношения у них с Пушкиным сложились странные: Пушкин был без ума от него, подражал даже его быстрым жестам и резким репликам в разговоре, но в то же время сознавал невозможность дружбы между ними. По мнению Пушкина своим характером и образом мысли Катенин весь принадлежал 18 столетию. . .

Вот и получалось, что Пушкин знал весь Петербург, но не знал, к кому прислонить плечо. Друзья были, доставало точки опоры.

Один лишь такой человек был у Пушкина — надежный, как скала, безукоризненно светский, глубокий мыслитель и в то же время воин, проверенный в огне Бородино: Чаадаев. Их встречи были не столь уж частыми, но имели для Пушкина огромное значение. Дружба с этим странным гусаром возвышала Пушкина в собственных глазах и озадачивала свет: должно же быть что-то в проказнике Пушкине, коли с ним дружен такой человек, как Чаадаев!

Когда было нужно, этот человек без лишних слов брался и помогал Пушкину. Через него Пушкин направил государю свою «Деревню». Чаадаев пекся о политическом воспитании вчерашнего лицеиста, учил его могучему отрицанию, мужеству, презрению к свету. С Чаадаевым Пушкин начал изучать английский язык.

Они много спорили: Пушкин терпеть не мог каких бы то ни было попов, а Чаадаев считал религию гарантией нравственности. Поскольку же православная церковь сделалась темна и безнравственна, Чаадаев проповедовал внедрение в России римского католического вероисповедания!

У него были огромные и порой безумные идеи, но он развивал, защищал их с неотразимой логикой. Споры с ним доставляли поэту колоссальное наслаждение.

В Петербурге переписывали послание Пушкина Чаадаеву. Заговорщики затверживали наизусть:

Товарищ, верь: взойдет она  
Звезда пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

В послании отразились впечатления поэта от «Сна» Улыбышева, с Аничковым дворцом, превращенным в Русский Пантеон, и с Триумфальной аркой, воздвигнутой на «развалинах фанатизма». Но тяжеловесная утопия Улыбышева не могла идти ни в какое сравнение с сжигательной силой пушкинских стихов.

Мы ждем с томленьем упования  
Минуты вольности святой,  
Как ждет любовник молодой  
Минуты верного свиданья. . .

То был язык страстей, понятный молодым сердцам. Кто кроме Пушкина мог так изумительно перевести угрюмый оборот «на развалинах фанатизма» в праздничное, фанфарное выражение «на обломках самовластья»?

. . . Напишут наши имена!

В Русском Пантеоне грядущего они будут стоять рядом, отлитые в вечной бронзе! И как бы не бранили Пушкина дома, как бы не злословили о нем в салонах, он знал, что он — человек непростой. Об этом говорила не только мадам Кирхгоф, но и дружба с Чаадаевым.

## Хрустальная душа — 3 экземпляра

Кто был славнейшим поэтом эпохи?

Державин, поэт варварской красоты и несравненного темперамента, умер в 1816 году. Карамзин давно оставил стихи, да и его «Бедная Лиза» давно вышла из моды. Дмитриев, автор «Сизого голубчика», был уже не поэт, а отставной министр юстиции, бесконечно переиздающий свои гармоничные и гладкие сочинения. Другой видный карамзинист Нелединский-Мелецкий, давно оставил свои прекрасные песни, ради служебной карьеры. Вся Россия распевала «Среди долины ровныя», но автор этой песни Мерзляков не был большим поэтом.

Независимый Гнедич, неутомимый труженик, переводил гомерову «Илиаду», он был для русской поэзии верным слугой, но не возлюбленным. Две звезды первой величины освещали небосклон литературы — Жуковский и Батюшков. Царством первого были тайна, печаль и мечта; второй пел забавы быстротечной молодости, вино и вакханок. Они были друзьями: Жуковского нельзя было не любить.



Его «хрустальная душа», его бесхарактерная и сияющая доброта сквозила и в его стихах. В балладе «Светлана», которую он освятил милой и несчастной Воейковой, он писал:

Вот баллады толк моей:  
«Лучший друг нам в жизни сей  
Вера в провиденье.  
Благ Зиждителя закон:  
Здесь несчастье — лживый сон,  
Счастье — пробуждение».

И кончалась баллада знаменитым пожеланием:

«Будь вся жизнь ее светла,  
Будь веселость как была,  
Дней ее подруга».

Однако сам Жуковский далеко не всегда был весел. Жизнь представлялась ему юдолью слез, и только за могилой провидел он исполнение наших самых задушевных чаяний:

Там в нетленности небесной  
Все земное обретешь.

Он сделался в русской литературе главным мастером ужасов, или «гробовых дел мастером», как однажды сострил Вяземский. С легкой руки Жуковского женихи-призраки западного романтизма стали своими людьми в России.

Никто не зрел, как с нею мчался он. . .  
Лишь страшный след нашли на прахе;  
Лишь внемя крик, всю ночь сквозь тяжкий сон  
Младенцы вздрагивали в страхе.

В сладком трепете читатели упивались его мелодичными кошмарами. Духи и великаны, пэры Шэрлеманя и норвежские скальды — Жуковский открыл русскому воображению цветной мир европейской легенды. Самые ужасные истории в звучали его устах как пленительной красотой; гений перевода, он фильтровал чужеземную романтику и смешивал ее с собственной сладкой меланхолией.

Чуткие насмешники Петербурга, уловив однообразно-женственную сладость этой поэзии, прозвали Жуковского «напудренным Оссианом».

Он ласков со всеми, и его улыбчивая апатия весьма способствует его придворной жизни. Он чтец императрицы, потом профессор русского языка для великой княгини (немецкой принцессы). Юные фрейлины оттачивают на беззащитном сердце Жуковского свои коготки. Но он способен лишь на увлечения. Он давно уже «перегорел», лучшие струны его сердца навек онемели, когда у него отняли последнюю надежду на брак с Марией Протасовой. Писать мадригалы фрейлинам — почему бы и нет? Но это все.

Ничего более быть не могло.

Незаконное дитя Афанасия Бунина и плененной турчанки Сальхи, Жуковский никогда не мог рассчитывать на брак в той среде, которая так баловала его. Положение его оставалось неопределенным; несмотря на тысячи нитей, связывавших его с высшим светом, Жуковский жил в незримой изоляции.

Это предопределило исход маленькой великосветской драмы — любви поэта к графине Самойловой.

## II

Дочь знаменитого генерал-прокурора ведавшего Тайной канцелярии, а по матери — племянница Потемкина, юная Софья Александровна Самойлова, фрейлина императрицы Марии Федоровны, блистала красотой и самой совершенной образованностью. В 1818 году ею увлекся Жуковский.

Тридцати пяти лет, высокого роста, с молочно-белым лицом и темными раскосыми глазами (наследие матери турчанки), Жуковский излучал неизъяснимое обаяние; чуть заметная улыбка вечного благоволения и приветия играла на его красивых полных губах.

В июне 1819 года он воспевает в стиле рококо «Платок графини Самойловой», который она уронила, катаясь на взморье. За «Платком» последовали другие стихотворения, посвященные ей.

— *Le grand conteur est epris de la comtesse Samoïloff*, — громко говорят дети при дворе.

Любила ли она его? Тонкая, любезная, много читающая, она была польщена поэтически явленными чувствами Великого Сказочника. Она могла бы сделать шаг ему навстречу в этой изысканно-опасной игре, но только шаг. О браке не могло быть и речи: «натуральный» сын какого-то тульского помещика не мог жениться на одной из Самойловых, которые проводили жизнь в роскоши и принимали в своих дворцах заморских королей.

А Жуковский стремился к браку, супружеской любви и семейному покою.

Мираж любви к Самойловой не обольщал его. Он видел перед собой каменную стену; из этой приятной, но тоскливой безысходности он невольно стремился вырваться. На счастье одновременно с ним графиней увлекся его лучший друг Василий Перовский.

Этот бравый офицер, раненый при Бородине, тоже был незаконнорожденным. Однако отцом братьев Перовских был не какой-то Бунин, а граф Алексей Разумовский. Все пять «воспитанников» графа, получивших фамильное имя от его подмосковной «Перово», стали дворянами и сделали великолепную карьеру. Василий Перовский в 1818 году был назначен адъютантом великого князя Николая Павловича. Этот европейски образованный и гордый юноша пользовался величайшим успехом у женщин. Он дружил с Жуковским, Карамзиным, Вяземским, был на «ты» с Пушкиным. И вот он признался своему лучшему другу в своем увлечении графиней Самойловой. Для автора «Светланы» это был единственный выход из безнадежной ситуации. Теперь он мог отступить красиво.

Товарищ! Вот тебе рука!  
Ты другу во время сказался;  
К любви была душа близка:  
Уже в ней пламень разгорался,  
Животворитель бытия,  
И жизнь отцветшая моя  
Надеждой снова зацветала!..

И Жуковский делает великодушный жест:

Товарищ! Мной ты не забыт!  
Любовь друзей не раздружит.  
Сим несозревшим упованьем,  
Едва оправданным душой,  
Подорожу ли перед тобой?  
Сравню ль его с твоим страданьем?

Он благословляет Жуковского на любовь к очаровательной фрейлине:

Люби! Любовь и жизнь — одно!  
Отдайся ей, забудь сомненье,  
И жребий жизни соверши;  
Она поймет твоё мученье,  
Она поймет язык души!

Это было написано в конце июля 1819 года. Жуковский играет в самоотверженную дружбу, платоническое участие в чужом счастье. В альбом графини Самойловой он вписывает новые стихи, постепенно приучая ее к своей новой роли: так, 17 сентября того же года он вписывает стихотворение «Напрасно я мечтою льстился». В нем есть многозначительные строки:

... И ряд веселых фонарей  
Дорогу вашу всю осветит!  
Пусть друга-ангела рука  
Их зажигает перед вами!  
А я, хотя издалека,  
За вами следуя глазами,  
Вас буду сердцем провожать,  
И благородно их считать.

— *C'est touchant!* — говорят в салоне графини Бобринской. — *mais pourquoi set «издалека»?*

7 октября Жуковский вписывает в альбом Самойловой возвышенные рассуждения о религии по поводу преподнесенной им Софье Александровне библии на немецком языке (подарок в стиле эпохи).

Наконец, между ними произошло объяснение.

— Я сожалею, что моему исканию дружбы вашей вы не смогли ответить. . .

Голос его звучал тихо и бесцветно. Самойлова молчала.

— Моё изъявление дружбы к вам, графиня, вы приписали, как видно, другому чувствованию, которое впрочем, внушить вы более всего можете.

Самойлова посмотрела на Жуковского, и в глазах её показались слёзы.

Охваченный паникой, он склонился в низком поклоне.

Нелединский-Мелецкий в письме к дочери позже объяснял всю эту историю тем, что Жуковский боится слыть влюбленным: «Il craint extremement d'être ridicule».

Самоотверженность Жуковского не принесла удачи его другу. Но бравый Перовский спокойно перенес холодность графини Софьи Самойловой: «При сем посылаю вам перчатку и уголок платка знакомой вам девы. Душевно желаю, Василий Андреевич, чтобы вы смотрели на эти принадлежности, как и я на них смотрел: как на простую тряпку и на простую лайку, и чтобы весна, а особенно горячее лето нашли бы вас совершенно прохлажденным. . . В случае чего, однако же, еще не предвижу

когда почувствуете себя довольно образумившимся, чтобы решительно открыть глаза и уши и очистить голову и сердце, прошу вас убедительнейше, Василий Андреевич, дайте мне знать через кого-нибудь о сей счастливой перемене дабы мы вместе и торжественно предали бы земле, воде или огню все эти перчатки, платки, ленточки и фруктовые косточки. . . Ах, царь небесный! Что за праздник это будет!..»

Осенью 1820 года Софья Самойлова становится невестой графа Алексея Бобринского из побочной ветви династии Романовых. Позже эта замечательная женщина осталась в дружеских отношениях с поэтом. У Софьи Бобринской достало ума сохранить дружбу с Жуковским.

### III

Дружба Жуковского и Пушкина особенно утвердилась с их осенней встречи в 1818 году, после возвращения первого из Москвы. Автор «Громобоя» и «Светланы» жил тогда в доме Плещеева, в Коломне, на самой окраине Петербурга. Несмотря на такую даль, каждую субботу к Жуковскому съезжались его друзья и литературные союзники, осколки озорного литературного общества «Арзамас» недавно умершего естественной смертью. На этих субботних вечерах Пушкин постепенно знакомил кружок Жуковского с поэмой «Руслан и Людмила». Поэма продвигалась медленно, так как Пушкин был всегда готов бросить ее ради пунша, карт или хорошенького личика. Однако во время своих довольных частых болезней Пушкин брался за перо всерьез и наверстывал упущенное.

— Василий Андреевич, он хочет предстать в поэме твоим соперником, — сказал однажды Александр Тургенев.

— Ты прав, я с первой же песни уловил дух соперничества и учтивой насмешки. Что нужды? Я первый его поздравлю. Когда он не опьянен вином или гневом, то каждый стих его — благо.

— Ты и вправду ангел, Василий Андреевич.

Тот безмолвно опустил голову: самый обычный его жест.

Поэма Пушкина соединяла изящество французской эротики минувшего века с простонародностью русских преданий. Ариосто с Бовой-Королевичем. Пушкин шел тропой Жуковского, но много далее: в глубине поэмы таилась пародия на учителя.

Но Жуковский был по природе своей настоящим учителем, поэтому радовался дерзкой независимости ученика, который его вышучивал.

Лето 1819 Пушкин провел в родительском селе Михайловском. Он вернулся в середине августа с пятой песней «Руслана и Людмилы» и принялся разъезжать между городом и двором, находившимся в Царском селе. После сидения в деревне его обуял бес передвижения.

В одну августовскую ночь Александр Тургенев повез Пушкина в Павловское. Они разбудили Жуковского, который становился ленив и рано ложился спать. Тот всегда был рад Пушкину.

В эту ночь «бесенок» превзошел себя самого. Он показал степенным друзьям свою любимую игру — изображал обезьяну, прыгал по столам и строил злобные гримасы. Тургенев, Жуковский и проснувшийся от шума Яков, слуга хозяина, чуть животы не надорвали. Все устали, спать легли уже в предрассветных сумерках и заснули сном праведных.

А через два дня у Николая Тургенева Пушкин читал другую новинку, привезенную из псковской глуши: оду «Деревня» — патетическое обличение крепостного права.

Идея оды родилась в общении с младшим Тургеневым. Тот в это время готовил для представления государю записку об отмене крепостного права и пропагандировал эту необходимейшую в России реформу среди своих сочленов по Союзу Благоденствия.

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный  
И рабство падшее, по манию царя,  
И над отечеством свободы просвещенной  
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Она сделалась широко известной и вызвала сильный шум.

Одновременно появилась эпиграмма Пушкина на Аракчеева.

В июле, когда Пушкин отдыхал в Михайловском, на юге произошло восстание военных поселян, так называемый чугуевский бунт. Граф Аракчеев помчался в Чугуев и лично руководил усмирением; по его приказу и в его присутствии 52 зачинщика были прогнаны сквозь строй и получили по 12 тысяч шпичрутенгов. В первые же дни после экзекуции из числа наказанных умерло 25 человек. По Петербургу повторяли пушкинское двустишие:

В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон:  
Кинжала Зандова везде достоин он.

В своей квартире на Фонтанке (в доме вице-адмирала Клокачева) Пушкин устроил с выигрыша дружескую пирушку, на которой прочел две своих главных эпиграмм 1819 года — «На стурдзу» и «На Аркачеева»:

Всей России притеснитель,  
Губернаторов мучитель. . .

Жуковский опасливо качал головой, он тревожился за Пушкина.

А тот уже вновь забывался за картами у Всеволожского, в объятьях актрис или в зверинце. Где соблазнял приемщицу билетов, попутно изучая мимику тигров и обезьян.

Между тем, неповоротливая александрова полиция хоть со скрипом, но делала свое дело. Государь услышал о каких-то рукописных сочинениях Пушкина, волновавших молодежь.

Он поручил командиру гвардейского корпуса князю Васильчикову достать эти стихи. Адъютантом же Васильчикова был Чаадаев. Через него Пушкин послал государю оду «Деревня».

В те годы многие, в том числе близкие к престолу, представляли государю записки об отмене рабства и конституционные проекты. Александр I любезно поощрял их и откладывал в вечный ящик своего бюро. Прочтя «Деревню» он велел «благодарить Пушкина за добрые чувства», которые внушает его ода.

В тесном кругу поэт дьявольски потешался над царем.

— Надо было послать ему «Ноэль», — иронизировал Чаадаев.

— Дойдет очередь и до «Ноэля»! — откликнулся Пушкин. — Рано или поздно он должен услышать всю правду о себе.

— Какой же ты обманщик, братец! — с притворной важностью заметил Каверин. — Ведь ты надул его величество.

— Не вижу в том греха: он сам первый обманщик.

— Лицедей, — с тихим отвращением добавил Чаадаев.

Жуковский, напротив, искренне верил, что государь ведет дело к освобождению. Пушкин вращаясь в самых разных кругах, чувствовал себя вполне непринужденно и у командира Преображенского полка Катенина. Это был самый талантливый последователь адмирала Шишкова, сделанного посмешищем в «Арзамасе», питомцем коего был Пушкин.

Все еще помнили спор «Ольги» и «Людмилы» — войну двух баллад. Резкое и подчеркнуто русское переложение «Леноры» Бюргера, сделанное Катениным в противовес утонченному переложению Жуковского, нравилось Пушкину, и он с упоением повторял два стиха из катенинской «Ольги»:

Адской сволочи скаканье,  
Смех и пляска в вышине. . .

Когда Катенин парадировал томную страсть Жуковского, Пушкин охотно состязался с ним в насмешках. Но однажды Катенин, разгоряченный вином, заговорил о некой странной истории, разыгравшейся в свете.

— Благородные люди стреляются из-за танцовщиц: вспомним беднягу Шереметьева. Неужто Авдотья Истомина, которою можно обладать за деньги, стоит большего, нежели Софи Самойлова?

— Что вы хотите сказать, Павел Александрович, — спросил Пушкин, мгновенно трезвея.

— Говорят, наш Фиалкин принес любовь в жертву дружбе. Какое прекрасодушное холопство!

Пушкин помолчал, собираясь с мыслями. Иногда он умел быть весьма осторожным в выражениях.

— Дорогой Павел Александрович, — сказал он, — вы прекрасно знаете судьбу Фиалкина. Можно потешаться насчет обветшавшей чувствительности в его стихах, но кто вправе судить его сердце? Нам ли повторять канканы света и двора? Заклинаю вас Вакхом и Венерою: оставим в покое Жуковского и будемте по мере сил щадить нежную увечность души его!

И Катенин, сам Катенин, замолчал и стал пить снова, потому что ему сделалось стыдно.

## Чувствительность как политика

### I

Летом 1819 года в Красном селе государь, осмотрев 2-ую гвардейскую бригаду, состоявшую под командой великого князя Николая Павловича, отобедал у брата и затем вступил с ним в беседу в присутствии одной лишь великой княгини.

— Вы должны знать заранее, что призваны вступить на престол.

И государь объявил Николаю, что смотрит на него как на своего наследника.

— Это должно случиться гораздо скорее, чем можно было бы ожидать, ибо ты заступишь моё место еще при моей жизни.

— Но брат Константин Павлович...

— Цесаревич Константин Павлович намерен отказаться от своих прав на престол.

Николай и его супруга переглянулись.

— Что касается меня, — продолжил государь, — то я решил избавиться от своих функций (*me defaire de mes fonctions*) и удалиться от света. Европа более чем когда-либо нуждается в государях молодых и твердых — во всей энергии их силы; что до меня, то я уж не тот, каким был, и почитаю долгом своим удалиться во-время.



В конце лета государь выехал в Варшаву. В дороге его догнала весть о беспорядках в чугуевских поселениях. Граф Аракчеев сообщал в письме от 24 августа (как всегда, оригинально расставляя знаки препинания): «Происшествия здесь бывшие меня очень расстроили; я не скрываю от Вас, что несколько преступников самых злых, после наказания законами определенного умерли, и я от всего этого начиная очень уставать, в чем я откровенно признаюсь перед Вами. . . »

Откровенность графа копилась два месяца: бунт в Чугуеве начался еще в конце июня. Примчавшись в Чугуев, граф прогнал 52 бунтовщиков через строй в тысячу человек по двенадцать раз. Эти люди превратились в безголосые красные куски мяса, которые в госпитале стали быстро гнить один за другим. В первые же дни после экзекуции померли 25 человек. Молва шла по России. Граф Аракчеев знал, что государя занимает мнение Запада, разговоры в салоне мадам де Сталь и афоризмы Шатобриана, а посему граф заранее говорил, что расстроен и «начинает уставать». Он знал также, что государь более всего на свете боится черной работы и отставки графа Аракчеева.

Впрочем, ведь не граф выдумал военные поселения, это была идея самого государя — и одна из самых любимых. Государь испытывал жалость к солдатам, которым приходилось служить 25 лет, в разлуке с женами и невестами; ах, он знал, сколь тяжела разлука для любящих! Так пусть же они несут службу, оставаясь в своих домах и вознаграждая себя за её тяготы нежными ласками своих супругов и очаровательными играми детей! В основе плана военных поселений лежала чувствительность государя, соединенная с некоторыми видами практической пользы.

Чугуев государь помнил: сорок верст от Харькова, премиленький городок, весь чистый и строго разлинованный. Точная геометрическая планировка, как на Васильевском Острове. Центр Слободских военных поселений. С чего им вздумалось бунтовать, избивать начальство? Чугуевский бунт начался с того, что поселенным приказали заготовить для полковых магазинов 103.000 пудов сена.

«Много это или не очень?» — грустно подумал государь.

8 сентября 1819 года он ответил на письмо графа Аракчеева: «Издавна тебе известна, любезный Алексей Андреевич, искренняя моя к тебе привязанность и дружба и посему ты не поверишь тем чувствам, кои ощущал я при чтении всех твоих бумаг. С одной стороны мог я в надлежащей силе оценить все, что твоя чувствительная душа должна была претерпеть в тех обстоятельствах. Благодарю тебя искренне и от чистого сердца за все твои труды».

И в Варшаве государя ждали нерадостные вести. Новосильцев совершенно разошелся с князем Адамом Чарторижским — а ведь оба они были

друзьями его молодости! Князь Адам был более, чем друг: с молчаливого согласия государя князь и государыня Елисавета Алексеевна любили друг друга когда-то. . . Именно Чарторижский явился одним из создателей «конгрессов» Польши. Ах, если бы они с Новосильцевым умели действовать солидарно и вместе! К тому же, возростало неудовольствие, против цесаревича Константина Павловича. . . Он слишком похож на ба-тюшку!

При частичном обновлении палаты депутатов на сеймиках резко порицали правительство Царства, кой-где выбирали неприятных и беспокойных людей. В газете «Белый Орел» публиковалась слишком пылкая полемика. Нет, положительно, он был в праве ожидать от поляков большей благодарности!

Цесаревич провожал государя, когда тот покидал Варшаву. В карете между ними произошел следующий диалог:

— Я должен сказать тебе, любезный брат, что я хочу абдикировать. Я устал и не в силах сносить тягость правительства; предупреждаю тебя, дабы ты подумал, что тебе надобно будет делать в сем случае.

— Тогда я буду просить места второго камердинера вашего: я буду служить вам и, ежели нужно, чистить вам сапоги. Когда бы я теперь это сделал, то почел бы подлостью, но когда вы будете не на престоле, я докажу преданность мою к вам как благодетелю моему.

Император обнял брата и поцеловал его так крепко, как никогда не целовал. Все-таки у брата под грубою корой таилось золотое сердце. Он любил его, Александра.

И эта его полячка — гм, она действительно хороша собой, прекрасно воспитана, из старинной фамилии.

Можно было окончательно согласиться на развод, который просил царевич.

И на его морганатический брак.

Этот брак приблизит его к Польше, уладит его недоразумения с поляками. В заодно и даст основание для перемены в порядке престолонаследия. Муж польской графини не может быть русским царем, равно как и возможное потомство их не в праве будет претендовать на шапку Мономаха.

Счастливец Константин! Он отдаст корону за любовь!

И государь приложил платок к увлажнившимся глазам.

## II

Александр I еще не знал, что Валериан Лукасиньский уже создал патриотическую конспирацию «Национальное масонство», что в Вилен-

ском университете уже два года действует общество дипломатов; польская молодежь без лишнего шума и драматических эффектов медленно готовилась к новой борьбе. Александр I по-прежнему считал себя кумиром польской нации. В интересах магнатов, привязанностью которых он очень дорожил, и ради расширения территорий, объятых действием конституции 1815 года, которою государь очень гордился, им было принято решение «восстановить Польшу в ее давних пределах» — присоединить к конгрессовому королевству западные губернии.

По возвращению в Санкт-Петербург государь высказывал свои мысли о «восстановлении Польши» некоторым лицам из своего ближайшего окружения. В их числе был историограф двора — Николай Михайлович Карамзин.

Карамзин был избран год назад членом Российской академии. По желанию императриц Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны он проводил лето в «китайской деревне» Царского Села, а зимы — в Петербурге. Государь часто приглашал его к себе и читал «Историю Государства Российского» в рукописи; они вели откровенные политические беседы, хотя Карамзин не раз осмеливался противоречить государю и даже критиковать его действия. Он не одобрял ни мистицизма Голицына, ни деятельности Аракчеева; он был одним из активных деятелей низложения Сперанского, порицал военные поселения, требовал создания твердых законов в России. Сторонник просвещенного абсолютизма, он занимал золотую середину между «либералистами» (Сперанский) и «сервилистами» (Аракчеев). Авторитет Карамзина казался чрезвычайно высок в эти годы.

— Карамзин есть воплощение политической совести русской монархии, — заявил однажды граф Каподистрия, с которым особенно сдружился историк. — он сочетает в себе ум твердый и сердце чувствительное; никогда он не стал бы приносить правосудие в жертву порядку.

В ответ на мысли, высказанные государем касательно восстановления Польши, Карамзин подал его величеству свою известную записку от 17 октября 1819 года — «Мнение русского гражданина». В этой записке он развивал мысли, противоположенные государевым, и делал заключение, что восстановление древнего Королевства Польского было бы противно священным обязанностям Самодержца России и самой справедливости; оно привело бы к падению России — «или сыновья наши обагрят своею кровью землю польскую и снова возьмут штурмом Прагу».

Записка Карамзина вызвала сильное раздражение государя. Он чересчур упрям! И как он не может понять высоких побуждений польского проекта? Il est royaliste que le roi meme. Он думает сделать ложную патристическую чувствительность основною политики, что за бредни.

Но государь знал, что голос Карамзина — это голос дворянства. И польский проект был отложен ввиду «общего не сочувствия» в России. Между государем и его историографом возникла некоторая натянутость. Это не угрожало положению Карамзина: на его стороне были обе императрицы. Вдовствующая императрица Мария Федоровна оказывала сильное влияние на своего старшего сына, который лишь в немногих случаях имел достаточно характера, чтобы с твердостью противостоять этому влиянию.

И Карамзин держался независимо. Аристократия его уважала, но не любила. В свете недолюбливали и его жену Екатерину Андреевну (старшую сестру Петра Вяземского). Она все еще была красива, эта первая любовь Пушкина. Гордая осанка Екатерины Андреевны вызывала насмешки в свете; при входе Карамзина в залу на приеме у Оленина кто-то сказал:

— Oui, c'est la Madame Karamzine, on le voit a sa morgue.

Многие завидовали карьере Карамзина и его безнаказанной смелости с государем. Говорили о «карамзинолатрии», о нетерпимости его фанатичных сторонников.

— Сам он человек простодушный и даже полезный, — уступали старые вельможи, — но сеиды его несносны.

В то же время было ясно, что партия Карамзина в литературе давно победила партию адмирала Шишкова. Карамзинизм стал господствующим стилем, внутри которого зарождались новые направления. И хотя он все еще писал свою «Историю Государства Российского», которую ему не суждено было завершить, Карамзин давно уже выполнил главнейшее свое предназначение — он заготовил формы для новой русской словесности. Дело было сделано; за ним шли другие.

Сознавал ли он, что его великое дело давно исполнено? Нет, конечно! Он хлопотал за неудачников и опальных, спорил с государем, рылся в архивах, наживая чахотку; трудился над «Историей» и верил, что ему предстоит влиять на политику России. Человек занятой и трудолюбивый, он не помышлял о конце.

Но порою он испытывал странную, беспричинную грусть.

Карамзин чувствовал охлаждение молодежи. В конце 1813 года, едва вышли из печати первые восемь томов главнейшего его труда, у него состоялся очень тяжелый разговор с Пушкиным.

Юный проказник в тот день был трезв и сдержан, как никогда. Он явился к Карамзину безукоризненно одетый, внешне спокойный, но в его молчании таилось нечто грозное. В продолжении общего разговора он только снимал и вновь надевал на мизинец золотой наперсток, под который отрастил необычайно длинный ноготь. Когда к нему обращались, отве-

чал кратко и рассеяно. Карамзин чувствовал, что с ним что-то происходит.

Когда они остались одни, Пушкин встал и подошел к Карамзину. Глядя ему в лицо, он процитировал фразу из авторского предисловия к «Истории Государства Российского»:

— «История есть священная книга царей и народов».

Карамзин ответил с улыбкой:

— Да, я уже где-то слышал эти слова.

Но Пушкин не принял эту шутку — он поднял свою небольшую красную руку и спросил:

— Николай Михайлович, почему вы не написали «народов и царей»?

Карамзин, несколько ошеломленный, отвечал сбивчиво.

Затем, увлекаясь собственной речью, он нашел изящные обороты и убедительные аргументы. Пушкин учтиво слушал его, но его реплики доказывали, что он все еще не признает себя побежденным. Впервые Карамзин обнаружил столь явное несогласие в своей собственной литературной партии.

— Разве не доказал я делом своей приверженности народу и правосудию?

— Но либеральные институты, в коих столь нуждается Россия. . .

— Россия нуждается только в самодержавии и твердых законах. Самодержавие есть палладиум России!

Лицо Пушкина загорелось, видно было, что он с трудом сдерживает себя. Скрестив руки на груди и прислонясь к краю стола, он сказал:

— Итак, вы рабство предпочитаете свободе.

Карамзин побледнел от негодования:

— Вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузов не говорили!

Они расстались холодно, Буквально на следующий день в салонах Петербурга появилась эпиграмма на Карамзина:

В его Истории изящность, простота  
Доказывают нам, без всякого пристрастья,  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.

Во многих списках под эпиграммой стояло имя Пушкина. Когда эпиграмма дошла до Карамзина, он с болью в сердце признал, что это очень похоже на правду. Встречи с Пушкиным стали редкими, их прежние теплые отношения исчезали.

— Что подделывает ваш Сверчок? — спросил Карамзин у Жуковского.

— Кутит напрадую, — отвечал Жуковский. — сошелся с ядовитым гордецом Катениным и учится у него площадной русской брани и французскому либерализму.

— Кажется мне, и то и другое хорошо ему ведомо без Катенина.

Карамзину оставалась дружба Румянцева и Каподистрии, беседы с императрицами, его великий труд, да чтение любимого автора — Вальтер Скотта. Никому не признавался историк, как ему не хватает Пушкина. Он воспринял этого проказника как живое воплощение молодости.

Молодость отворачивалась от великого человека, давшего свое имя целой литературной эпохе.

До России уже докатилась слава молодого английского поэта лорда Байрона. Еще в 1817 году Уваров, ранее других в России узнавший поэзию Байрона, одной из статей петербургского журнала «Conservateur impartial» (№ 77) заявил, что в поэзии Жуковского имеются черты, родственные таланту Байрона. Быть может, это возбудило интерес Жуковского. Все лето 1819 года он и его друзья зачитывались Байроном. Жуковский, бредил Байроном и называл его «гением-воскресителем»: он собирался перевести его «Гяура» и выкрасть лучшее, по его выражению, из «Манфреда». В этом кружке находили «Манфреда» произведением «уродливым», но все же восхищались им. Жуковский умел читать по-английски. Недавний арзамасец Дмитрий Блудов присылал из Лондона Жуковскому такие новинки, как поэма Байрона «Мазепа» или его зажигательная «Ода к Венеции».

Слава Байрона звенела погребальным звоном по карамзинизму.

— Лорд Байрон со своим бешенством страстей и полною нравственною распущенностью, — говорил Карамзин, — конечно же, не может почитаться чувствительным человеком. Он глашатай революции, за ним идут призраки Робеспьера и Фукис-Тензиля!

Но на это ему возражали (обычно шепотом), что покамест над Россией царит живой палач, а не призрак: Чугуевская история была у всех на устах. И Карамзин, в глубине души ненавидевший Аркачеева, с тайным удовольствием слушал пушкинские эпиграммы на всесильного любимца государя.

Он горько ощущал перемену психологического климата в Петербурге и с упорством обреченного отстаивал свое знамя.

Оно еще осеняло обширный круг союзников, но притока молодой и свежей силы здесь более не было.

Пушкин ушел от Карамзина к либералистам и политике, к молодым обновителям старины — в литературе. Он сочинял уже третий или четвертый год какую-то поэмку, начатую еще в Лицее. Она называлась «Руслан и Людмила», отрывки из нее, известные Карамзину, написаны

были бойко, размашисто, но — неглубоко! Зловредное влияние Катенина сказывалось в этой безделке: Карамзин видел, что Пушкин не бережет языка и выражается в поэме с простонародной грубостью.

— Мальчишка на ложном пути, — говорил историк Екатерине Андреевне. — Жаль, очень жаль.

— Он загубит свой дар, — отвечала жена.

В доме Карамзиных раз и навсегда сложилось дружественно-презрительное отношение к Сверчку. Молча было решено не принимать его всерьез. И этому решению Карамзины оставались верны до конца.

## Девочка из Стамбульской кофейни

### I

В 1819 году две новых звезды блеснули на петербургском небосклоне — сестры Софья и Ольга Потоцкие. Свет дивился не только их красоте, но и удивительной свежести их матери, чья скандальная слава давно обескураживала моралистов.

В 1776 году маленькая гречанка из одной стамбульской кофейни по имени Софья Главани, дочь сводни, была куплена польским интернунцием Босканом-Лясопольским: он хотел сделать это прелестное дитя одной из «банных девушек» короля Станислава-Августа. Но у этой девочки из кофейни оказались свои планы. В Польше она вышла замуж за майора Жозефа де Витта и в Варшаву явилась как pani Wittowa. Тогда Варшава была столицей хамского рококо: ничтожный король, которому царица Екатерина дала корону за любовь, окружил себя гаремом из знатнейших дам королевства, а после обеда усаживался на террасе своего дворца и смотрел в сильный лорнет на купавшихся в Висле горожанок. Немудрено, что пани Виттова имела огромный успех. Ревнивые дамы двора утверждали, что Боскан купил эту греческую сучку за 10 пиастров на известном стамбульском Аврет-базаре. Мужчины это игнорировали, предпочитая более осязательные факты.

В 1781 году двадцатилетняя Софья де Витт отправилась в турне по Европе. Любовником её стал брат французского короля; Париж и Вена объявили её «самой красивой дамой Европы». Муж её делал сногсшибательную карьеру. Затем супруги появились при дворе Потемкина, который осыпал царскими дарами Софью и сослал в Сибирь майора Щегловского, имевшего неосторожность понравиться фаворитке русского султана. Иосиф де Витт, покладистый муж, получил от Потемкина генеральский чин и графское достоинство.

Когда светлейший умер, графиня де Витт влюбила в себя польского магната Станислава-Щенского Потоцкого (Szczesny, «счастливый» — польский перевод Латинского имени Felix). За очень большие деньги де Витт согласился на развод, и Софья стала графиней Потоцкой.

Второй муж её был из числа тех магнатов, которые продали независимость Польши. Во время восстания 1794 года он был заочно приговорен к смертной казни. Он жил преспокойно в Петербурге и Вене, а в своих украинских поместьях строил для любимой жены земной рай — знаменитую Софиевку. Суворов взял Прагу, Польша перестала существовать, но магнат не вернулся на родину. Генерал-аншеф русской службы, он жил в Петербурге или уманских поместьях, воспитывал двух прекрасных малюток — Софью и Ольгу. Умер в 1806 году, оставив прекрасной вдове огромные земли и 37 тысяч душ крепостных.

Дети покойного от первого брака оспаривают её права на наследство. Процесс растягивается на много лет. При создании конгрессовой Польши графиня является на берега Вислы во всем блеске своей зрелой красоты. Её очередным завоеванием становится сам Новосильцев. Но тяжба переходит в Санкт-Петербург, в сенат; графиня снова едет в столицу России, раздаёт взятки направо и налево. Однако процесс из-за наследства Щенского Потоцкого — дело слишком серьезное. Одними взятками тут не обойдешься, нужен большой человек, а графиня уже немолода.

И она выпускает свою 17-летнюю дочь Ольгу на графа Милорадовича, генерал-губернатора Петербурга.

Этот серб, герой 1812 года, знаменитый храбрец и любитель женской красоты, пользуется большим расположением государя, с которым часто видится по своей генерал-губернаторской должности.

Графиня Потоцкая часами оставляет свою Ольгу, замечательную красавицу, наедине с графом Милорадовичем. Он опьянен польской нимфой, его приемный кабинет весь украшен портретами и статуэтками Ольги Потоцкой.

## II

Старшую из сестер, Софью Станиславовну, князь Вяземский любил еще в Варшаве. Он написал мадригал с длинным заглавием: «К двум красавицам — матери и дочери».

О вы, которые гордитесь красотой,  
При них, от зависти краснея, скройтесь прочь  
Мать несравненная! А дочь  
Сравнялась с матерью одною.



Летом 1819 года Вяземский привез в Петербург русскую конституцию, секретно выработанную в варшавской канцелярии Новосильцева. «Государственная уставная грамота Российской империи» представляла собой несколько ухудшенный вариант польской конституции 1815 года. Государь принял Вяземского Каменно-островском дворце и беседовал с ним более получаса.

«Уставная грамота» была погребена в тайных недрах его кабинета. Поездка Вяземского в Петербург возымела одно лишь последствие: князь ввел Пушкина в дом графини Потоцкой.

Этой величественной красавице было, мягко говоря, сильно за пятьдесят, но черные глаза ее еще сохраняли былое пламя. Раскинувшись на маленьком диване среди горшков мяты и бальзамина, она безумно тешилась рискованными остротами и эпиграммами молодого поэта.

— Mon cher Pouchkine, vous me faites rajeunir jusqu'a l'indecence!

В смешанном обществе её салона затянутый и молодящийся граф Милорадович, *si-devant home*, держался, как султан; встретив здесь Пушкина, он принял с ним «молодой» тон. Особое внимание поэта обратилось на Софью Станиславовну: его чувство было предуготовлено рассказами Вяземского об уме и образовании старшей сестры. Князь называл её Минервой.

Её суждения о мадригалах Пушкина обличали тонкий вкус. Стройная, с ослепительной кожей и загадочными глазами, она показала Пушкину необычайно поэтичной.

На одном из вечеров в доме Потоцких, осенью 1819 года, Пушкин в кругу поклонников, собравшихся вокруг мадмуазель Софи, юмористически описывая историю в театре, которая должна была закончиться дуэлью, однако майор, который провоцировал Пушкина, перетрусил и извинился. Генерал Киселев, приятель и соперник, пытался перецеголять Пушкина каким-то длинным анекдотом, но потерпел полнейшую неудачу. Графиня-мать перебила его, обратившись с вопросом к Пушкину:

— Нет ли у вас родни в Константинополе?

— Нет, графиня, у меня нет родни далее Москвы, — отвечал поэт.

— Когда мне было десять лет, — сказала прекрасная гречанка, — я впервые извела нежное чувство. Предметом оно было один моряк: он был похож на вас, как две капли воды.

Мадмуазель Софи кусала губы. Обеих сестер Потоцких всегда нервировали воспоминания их матушки о туманном константинопольском детстве. Общество на миг замолкло в панике. Спасая положение, Пушкин с полной непринужденностью продолжал:

— Впрочем, кое-какая родня у меня есть в Африке! Ведь мой прадед, африканский принц, был аманатом в Константинополе, и там Емельян

Украинцев выпросил его у султана.

Петр Великий явился крестным отцом сего африканца: он дал ему фамильное имя Ганнибала. Моя матушка — рожденная Ганнибалом, зато Пушкины — это старый русский род.

Софья Станиславовна охотно поддержала эту тему, и общество ожило.

— У Карамзина вы найдете множество упоминаний о Пушкиных. Один из наших предков был любимым воеводою святого Александра Невского. Я, конечно, знаю, что род Потоцких не менее древен и еще более знаменит в истории Речи Посполитой. Не так ли, Софья Станиславовна?

— Да, среди нас было столько коронных гетманов и министров, что не перечесть. Портреты старцев в бобровых шапках с перьями и дам, которые держат охотничьих соколов, словно нюхают розу, с детства нагнали на меня скуку. Что с того, что Потоцкие были опорой исчезнувшего трона Ягеллонов? Меня это не волнует. Зато нет ничего прекраснее, чем история Марии Потоцкой.

— Истории Марии Потоцкой? — переспросил Пушкин. — Фамильное предание?

— Разве князь Вяземский не рассказывал вам её?

— Нет, не успел. Расскажите ради бога — я обожаю семейные истории.

— Собственно, это не только семейное предание: в Бахчисарае эту историю знает каждый татарин. В один из последних набегов на Польшу татары взяли в плен Марию Потоцкую; крымский хан Керим-Гирей увидел её проливающей горькие слезы, она была подобно лилии в росе, ей было пятнадцать лет, и ханлюбил её великой любовью.

Пушкин не отрывал взора от Софьи. Он тайком от окружающих завладел её рукой.

— Сердце беспощадного Гирея замирало от тоски перед мраморной печалью её чела. Никакие улады мусульманской роскоши не радовали пленницу. Взор её постоянно обращался к северу, словно магнитная стрелка. Хан ничем не мог ни утешить Марию, ни добиться её любви. Потоцкие предлагали за неё миллион выкупа, но он ответил, что не отдаст Марию даже за город Краков. Она была дороже всех сокровищ на свете! И Мария, окруженная раблепием и восточною негой, мало-помалу зачахла и угасла вдали от родины и своей семьи, и служитель истинного бога не принял её последнего покаяния и не проводил её святою молитвою.

На глазах её показались слезы, которым ответили вздохи слушателей.

— Хан был безутешен. Болтают, будто Марию зарезала из ревности одна из прежних звезд сераля и будто злосчастную преступницу

живою зашили в мешок и бросили в море. Глупости! Мария умерла от тоски по милой Польше. Керим-Гирей воздвиг на нею дивный мавзолей, где кристальная струя из горного источника служит вечною эмблемой неиссякаемых слез хана. Этот дивный памятник сохранился по сей день. . . там голубое небо, и горячее солнце, упоющего воздух Бахчисарая. . . и вечно плачет фонтан. . . La fontaine des pleurs!

Голос её, вибрируя, стихал, как струя арфы; она откинула голову, словно созерцая прищуренными глазами далекую картину надгробия Марии Потоцкой среди цветущих крымских садов.

— Фонтан слез, — зачарованно повторил Пушкин. — Вы говорили, как Сафо!

— Вы льстец, господин Пушкин. Наконец, не соблаговолите ли вы вернуть свободу моей руке? Пальце её совсем склеились от ваших пожатий.

Все расхохотались. Пушкин покраснел чуть не до слез и порывисто вскочил. Острый ответ уже вертелся на кончике его языка, как вдруг он уловил глубокий и красноречивый взгляд красавицы.

— Умоляю простить меня, — тихо сказал он. — Прелесть этого рассказа виною моего забвения.

### III

Спустя три дня Пушкин задался целью пересидеть всех поклонников Софи. Он рассказывал о лорде Байроне, который ввел на дружеских пирушках моду пить вино из черепов и всюду таскал с собою любовницу, переодетую пажом.

— Ваша история пикантна, — сказала Ольга Потоцкая, — но я знала в Варшаве шестидесятилетнего вельможу, влюбленного в одну из самых юных фей Польши. Она уверила его, что у него весьма красивые ноги, и заставляла переодеваться на маскарадах пажом.

Все взоры обратились к дивану, на котором графиня Потоцкая вела с графом Милорадовичем серьезную беседу.

— Кстати, как подвигается процесс вашей матушки? — спросил Пушкин.

— Все лучше и лучше, — хладнокровно ответила Ольга.

Окружающие прятали улыбки, но невольно посматривали на графа Милорадовича и его чисто кавалерийские ноги.

Постепенно общество редело: поклонники отбывали, видя, что мадам-музель Софи целиком погрузилась в беседу с Пушкиным. Они спорили об истинном счастье. Проводив графа Милорадовича, скрылась Ольга.

— Je vous laisse, mes enfants, — сказала графиня-мать.

И Пушкин остался наедине с таинственной Софи Потоцкой.

Её представления о счастье, сотканые из идиллий конца минувшего века, грез Оссиана и католической экзальтации, казались Пушкину странными. В её блаженной меланхолии он угадывал тайное самолюбование.

— Одинокая пастушка, которая на вечерней заре смотрится в зеркало вод, напоминает Нарцисса. В сущности, это весьма печальное зрелище. Разве не более тешат нас вакхические звуки тимпанов и буйная нагота ликующих сонмов под солнцем Эллады, когда вино и сладострастие одни царили над празднеством, отменял на время стеснительные законы приличий? Счастье для эллинов заключалось в самой вольности дионисий!

И Пушкин, обладавший феноменальной памятью, сидя рядом с мадмуазель Софи, прочел ей знойную «Вакханку» Батюшкова — стихотворение, всё пронизанное ритмом радостного бега. Софья слушала, опустив ресницы.

Я за ней. . . она бежала  
Легче серны молодой:  
Я настиг — она упала!  
И тимпан под головой!  
Жрицы Вакховы промчались  
С громким мимо нас;  
И по роце раздавались  
Эвоз! — и неги глас

Он умолк, с улыбкой глядя в глаза девушки.

— «Эвоз! — и неги глас», — повторила Софи, слегка задыхаясь. — Боже, как прекрасно!

Она сама взяла его за руку; лицо её горело. Пушкин обнял мадмуазель Софи.

Она жадно ответила ему на поцелуй, но лихорадочная дрожь сотрясала её с головы до ног. Пушкин гладил её, шепча бессвязные слова.

И в миг, когда его осмелевшая рука посягнула на «ревнивые одежды», два огненных глаза вдруг открылись перед ним, их мрачный взгляд упал в самую его душу, и неузнаваемо-хриплый голос прервал слепое бормотание страсти:

— Vous etes un Fou! Laissez-moi tranquille!

Она вырвалась из его рук, встала с канапе и, подойдя к широкому зеркалу над мраморным камином, принялась поправлять прическу. Краска сошла с её лица, уступив место обычной бледности.

— Прощайте, жрец Вакха! — язвительно бросила она, выходя.

Ошеломленный Пушкин несколько минут просидел в одиночестве. Мысли его путались. В гневе и разочаровании он поднялся и вышел.

Только через минуту он заметил, что ошибся дверью и идет по незнакомым комнатам. Где же лестница? Встречные лакеи уклончиво избегали его, они были слишком хорошо вышколены. В нетерпении он отворил какую-то дверь и увидел сквозь портьеру яркий свет. На него повеяло теплом, запахами одеколона и спермацета.

Он осторожно приподнял краешек портьеры и оцепенел.

В комнате с китайскими обоями горело несколько канделябров; перед огромным венецианским зеркалом стояла в белом пеньюаре мадмуазель Софи. Пушкин увидел в зеркале её страдальчески-одухотворенное лицо, золотой крестик на белоснежной коже и тонкие руки: раскинув пеньюар, она лихорадочно ласкала свою удивительную грудь.

Вдруг она встретила в зеркале горящий взгляд Пушкина, пронзительно вскрикнула и исчезла.

Пушкин вышел вон, встретив лакея, и тот проводил его к лестнице. Спустившись вниз, он вырвал у гайдука свою шубу и шляпу. На улице он нанял на последние деньги извозчика и помчался в себе в Коломну. Он проклинал свою глупую страсть, но странная девушка перед зеркалом стала еще желаннее.

#### IV

Листая в эту ночь своего Парни, он наткнулся на стихотворение «Взгляд в Цитеру» и был поражен сходством его темы со своим приключением. Тотчас же он взялся за перевод стихотворения.

Он закончил его через два дня. Получилось вольное переложение: Пушкин, как и Жуковский, не мог удержаться в строгих рамках точного перевода. Он озаглавил это переложение деликатным названием «Платонизм». В стихотворении говорилось, что поэт разгадал тайну девушки, отвергающей и Купидона, и Гименея: она молится «другому богу».

... Твой бог не полною отрадой  
Своих поклонников дарит;  
Его таинственной наградой  
Младая скромность дорожит;  
Он любит сны воображенья,  
Он терпит на дверях замок,  
Он друг стыдливый наслажденья,  
Он брат любви, но одинок.

София Потоцкая вызвала в нем жалость, и в пушкинском переложении изысканная фривольность Парни приобрела новую окраску.

В уединенном упоенье  
Ты мыслишь обмануть любовь.  
Напрасно! — в самом наслажденье  
Тоскуешь и томишься вновь. . .  
Амур ужели не заглянет  
В неосвященный свой приют?  
Твоя краса, как роза вянет;  
Минуты юности бегут.  
Ужель мольба моя напрасна?  
Забудь преступные мечты;  
Не вечно будешь ты прекрасна,  
Не для себя прекрасна ты.

Это был один из тех случаев его молодости, когда сквозь розовую дымку легкой поэзии на миг внезапной молнией посверкивала необычайная мудрость настоящего Пушкина. Красота не самоцель — она обречена жизни!

Не сразу он решился на следующий визит. У Софьи Потоцкой он застал многочисленное общество: польских аристократов, генерала Киселева, Бутурлина. Граф Милорадович и Ольга держались в некотором уединении, видно было, что бравый воин без ума от младшей сестры. С Пушкиным обе сестры держались любезно и невнимательно. Он уехал в отчаянии.

Стихотворение «Платонизм» привело в восторг его друзей: Дельвиг, Щербинин переписали его, Никита Всеволожский выучил наизусть. Через лампистов эти копии достигли будуаров светских дам. Результат не замедлил сказаться: Софья Станиславовна более не замечала Пушкина.

— Что за рождественский подарок поднесли вы Софье? — спрашивала старшая из красавиц. — она не может имени вашего слышать без содрогания.

— Я сделал величайшую глупость, графиня: я понял молодую и прекрасную особу, — сказал Пушкин. — Не нужно понимать девушек, следует их только любить.

— Все это вина Бенджамена Константа и новейших романов avec leur manie de compliquer les choses simples, — сказала гречанка. — В прежнее время страсти были сильнее, но выражались прямо. Как хорош был

князь Таврический! Однажды под Бендерами он одержал большую победу. . . Нет, я говорю не о взятии крепости, а о взятии княгини Долгорукой. Осчастливленный сею дамою, он вышел из землянки с кубком вина (знаете вы, что была землянка его? — колоны, ковры, статуи) и приказал бить тревогу. Армия думала, что турки делают вылазку, и из всех батарей произведен был батальный огонь! Каково? Долгорукий сидел за картами, они послали спросить, что за пальба. Посланный вернулся и доложил, что уже дан отбой: просто светлейший скомандовал батальный огонь для развлечения Долгорукой. Как вы думаете, что выразил на оное супруг?

— Что его жена этого не стоит?

— Отчего же, она стоила этого, мой дорогой Пушкин: она была хороша.

— Что же сказал Долгорукий?

— «Экое кирикуку!»

Пушкин закатился от хохота. Он смеялся с такой неистовой радостью, что никто не удержался бы от смеха, глядя на него.

Не удержалась и старая графиня. Они смеялись до слез и вдруг графиня, словно в пароксизме смеха, упала ему на грудь. Пушкин вынужден был поддержать её за талию. Они были одни, графиня поцеловала его; её руки касались поэта.

Пушкин даже не слишком удивился. . .

Конечно, никто бы не дал ей пятидесяти семи лет. . . но добиваться бесплодно любви дочери и взамен получать утешение от матери — *Se serait trop ridicule!*

Он был светским человеком — *Le ridicule* его пугало. Итак, он почтительно усадил графиню в мягкое кресло «помпадур», поцеловал ей руку и сказал изысканный комплимент по поводу вечной молодости. И при первой возможности бежал — отвергнув любовь самой блестящей распутницы екатерининского века.

Он бежал утопить в вине разочарование одной любви и смешливую досаду на другую любовь. Но странная история с «двумя красавицами» продиктовала ему один из самых остроумных эпизодов «Руслана и Людмилы» — эпизод Финна и Наины.

Встретив его в театре, Федор Глинка, правая рука Милорадовича, спросил:

— Вы уже знаете, что наша обольстительная руина Потоцкая выиграла процесс?

— Вот как? — невольно краснея, ответил Пушкин.

— Да, решение уже подано на высочайшее утверждение, в коем не сомневаются, — сказал Глинка, многозначительно умалчивая, кто не сомне-

ваются.

— Значит, ваш патрон счастливее меня!-сказал Пушкин на ухо Глинке.

Тот улыбнулся и погрозил ему пальцем.

В своей ложе появились Потоцкие — мать и обе дочери. Позади них была видна красивая фигура генерала Киселёва. В свете его уже называли *le chevalier servant* мадмуазель Софи. Поговаривали о возможном браке.

## Глава XIII. Ледоход на Неве

— Вы слышали о чудесном обращении Магницкого?

— О да! Он был прекрасен, произнося свою речь.

Петербургские святоши пересказывали речь гражданского губернатора Симбирска Магницкого, произнесенную при открытии отделения Библейского. Впрочем, речь была напечатана во всех газетах. Но кто же читает русские газеты?

Михаил Леонтьевич Магницкий заставил вступить в Библейское общество всех симбирских чиновников и дворян, сжег на площади книги Вольтера и других философов минувшего столетия. Для виду газеты порицали излишнее усердие Магницкого, но это ауто-да-фе понравилось государю. До своей ссылки Магницкий, давний друг Сперанского, был безбожник и кощун первого класса, а теперь стал воинствующим христианином.

Теперь Магницкого назначили попечителем Казанского университета. Он ринулся преследовать отвергнутые им «французские идеи», изгнал из университета одиннадцать профессоров, запретил вскрывать трупы и преподавать системы Коперника и Ньютона, предписал на академических актах перемежать научные доклады с молитвами. Казанский ректор Никольский так одурел от страха, что в своем курсе геометрии трактовал треугольник как символ святой Троицы. Магницкий был осыпан милостями и деньгами.

Всемогущий Голицын, министр и президент Русского Библейского общества, был на верху славы; в свете закатывали глаза, о его филантропии, о его благодеяниях бедным. Его считали чуть ли не святым: к нему подводили детей, и он их благословлял, возлагая руки на их головы. Государь император находился всецело под его влиянием.

— Говорят, государь дал аудиенцию лондонским квакерам.

— О да, он молился и плакал вместе с ними, и даже целовал руки их старейшине Аллену!



— А что слышно о «Русских квакерах»?

— Государыня благоволит к мадам Татариновой. Князь Александр Николаевич сам побывал на их радениях в Михайловском замке.

В свете внезапно вошел в моду мистический салон Александры Петровны Хвостовой, которая написала несколько брошюр чрезвычайно небесного содержания. У нее частенько бывал сам министр, Александр Николаевич Голицын. Он вообще дружил с дамами, вышедшими из опасного возраста.

Молодые женщины его не интересовали: у министра были «греческие вкусы». В свете называли нескольких его любовников, в том числе чиновника Иностранной Коллегии Бантыша-Каменского, одного из сыновей известного историка.

На обскурантизм Голицына и «триумфы» его над наукой Пушкин откликнулся злой эпиграммой, где, как обычно, не разобрал политических вин и личных пороков своей жертвы:

Вон, Хвостовой покровитель,  
Вон, холопская душа!  
Просвещения губитель,  
Покровитель Бантыша!  
Напирайте, бога ради,  
На него со всех сторон!  
Не попробовать ли сзади?  
Там всего слабее он.

Аракчеев и Голицын были враками, но для Пушкина они представлялись равными по своему злу: первый — кровожадный палач, второй — губитель душ человеческих. Граф Алексей Андреевич — солдат грошевой курвы, князь Александр Николаевич — «бардаш»; одно другого стоит.

Среди петербургских промозглых ночей слышалась то и дело песенка, от которой шарахались прохожие:

Народ честной мы позабавим  
И у позорного столпа  
Кишкой последнего попа  
Последнего царя удавим.

Это цвет молодежи разъезжался со своих таинственных ужинов. Песенку все считали тоже сочинением Пушкина: возможно, так оно и было.

II.

Пушкин стрелялся с Рылеевым, но оба выстрелили в воздух, а потом их сразу помирили.

Кондратий Рылеев был совсем новым человеком в столице, но его уже заметили. Резкость его суждений поражала, ненависть к режиму бросалась в глаза. Отставной артиллерийский офицер тоже писал стихи, как все молодые люди того времени. Он подражал Батюшкову, но, конечно, не мог угнаться за его легкокрылой музой на своей скрипучей колеснице. Анакреонтика Рылеева была тяжелой и вымученной; он пел радости жизни и любви, словно исполнял трудную повинность.

Пушкин посмеивался над его дикой честностью и упрямой неумеренностью в суждениях, над его отзывами о европейской политике.

— Он знает Европу лишь по русским газетам, каковые прочитывает в лавке Сленина, — говорил Пушкин. — Что можно вычитать в русских газетах? Взгляд его узок и темен, он не любовник, он монах свободы.

Одна из летучих импровизаций Пушкина, пародия на рылеевские стихи, привела к дуэли. Кончилось без крови, но Пушкин начал слегка уважать этого чудака. Раз человек проверен под дулом пистолета, значит можно спокойно подавать ему руку, не опасаясь замараться.

Они оставались далеки: Рылеев — слишком серьезный человек, жесткий, строгих правил. А Пушкин. . .

20 сентября 1819 года «Зеленая лампа» отметила именины одного из своих братьев — Юрьева. К тому же он получил перевод в лейб — уланский полк. Пушкин сочинил по этому поводу задравную песню которую «лампысты» спели в честь Юрьева:

Здорово, Юрьев отменили!  
Здорово, Юрьев лейб-улан!  
Сегодня для тебя пустынный  
Осушит пенистый стакан

И хор дружно подхватил припев:

Здорово, Юрьев именинник!  
Здорово, Юрьев лейб-улан!

Запевала:

Здорово, рыцари лихие  
Любви, свободы и вина!  
Для нас, союзники младые,  
Надежда лампа зажжена.

Хор:

Здорово, рыцари лихие  
Любви, свободы и вина!

Запевала:

Здорово, молодость и счастье,  
Застольный кубок и бордель,  
Где с громким смехом сладострастье  
Ведет нас пьяных на постель.

Хор:

Здорово, молодость и счастье,  
Застольный кубок и бордель!

Эта бешеная жажда жизни заключила в себе и творчество, и гусарство, и политическую свободу.

Божба, кощунство и открытая непристойность звучали вызовом гнусно-богомольной эпохи. Голицын окутывал себя облаками кадильного дыма, чтобы скрыть за ними свои неизменные пороки и побуждения; распутницы света живодееры провинции играли в мистические озарения; граф Аракчеев был поклонником сентиментальной поэзии.

Все были так чувствительны и религиозны, что в приторном дыму фимиама нечем было дышать.

В этой душной атмосфере настоящая и неприкрытая грубость была нужна, как глоток свежего воздуха.

В свете Пушкин задыхался и ненавидел его «вялые, бездушные собрания», как писал в «Послании к князю Горчакову».

Когда в кругу Лаис благочестивых  
Затянутый невежда-генерал  
Красавицам внимательным и сонным  
С трудом острит французский мадригал,  
Глядя на всех с нахальством благосклонным,  
И все вокруг и дремлют и молчат,  
Крутят усы и шпорами бренчат,  
Да изредка с улыбкою зевают, —  
Тогда, мой друг, забытых шалунов  
Свобода, Вакх и Музы угощают.  
Не слышу я, бывало, острых слов,

Политики смешного лепетанья,  
Не вижу я изношенных глушцов,  
Святых невежд, почетных подлецов  
И мистики придворного кривлянья. . .

«Затянутый невежда-генерал» в кругу «благочестивых Лаис», богомольных распутниц, с его смешным французским языком был похож как две капли воды на Милорадовича.

Вольному отпрыску аристократии хотелось вырваться из плена узаконенной скуки и утонченного лицемерия. Пушкин не мог в те годы доверять серьезности, подозревая в ней или обман, или тупость.

Рылеев был серьезен.

### III.

Казалось, Пушкин ищет столкновения с правительством.

Во второй половине февраля 1820 года до Петербурга дошла громовая весть из Парижа: герцог Беррийский, надежда династии, был убит каким-то рабочим у театрального подъезда.

13 февраля, когда сорокалетний герцог вышел из театра, к нему быстро приблизился неизвестный, с величайшим хладнокровием, вонзил ему в сердце длинный кинжал. Он был схвачен и оказался седельщиком Пьером Лувелем, 36 лет, Лувель заявил, что его целью было «exterminer les Bourbons», уничтожить династию Бурбонов, у которой более не оставалось наследников. Однако, вскоре молодая вдова, герцогиня Беррийская, родила сына. Лувель с твердостью умер на эшафоте. Несмотря на любовь короля к премьер-министру Деказу, министерство пало. К власти во второй раз пришел Ришелье, бывший губернатор Новороссии.

Эти события взволновали Европу. Дремлющий французский народ на миг пошевелился — и одним Бурбоном стало меньше. Нация еще раз напомнила о своем существовании.

В Петербурге весь высший свет собрался на «торжественное поминовение» герцога Беррийского. Русские аристократы надели траур. А вскоре Пушкин, одним из первых раздобыл литографированный портрет Лувеля, показывал его в театре знакомым, написав на портрете: «Урок царям».

— А не пора ли, Пушкин, за дело браться? — подзадорил его кто-то из демагогов партера.

— Теперь самое безопасное время, — ответил он во всеуслышание через три ряда кресел, — по Неве лед идет.

В ту эпоху в Петербурге еще не было постоянного моста, и ледоход на Неве означал, что дворец отрезан от Крепости.

Вызывающее поведение Пушкина возмущало друзей порядка. Люди благоразумные и набожные, воспаряющие духом и славящие господа, смотрели на Пушкина с изумлением и ненавистью:

- Гол, как бубен, в дерет нос!
- Не тверд в вере!
- Беспорядочного поведения человек.
- Бесчестит своё имя. . .

Член Вольного общества любителей российской словесности Каразин своими доносами на Пушкина графу Кочубею форсировал события.

Осторожный и хитрый Кочубей (дочь которого очень нравилась в юности Пушкину) представлял доносы Каразина государю. Александр I затребовал документальных подтверждений к этим сообщениям. Шпионы вышли на добычу рукописных пушкинских стихов.

Еще не подозревая об этом, Пушкин в марте 1820 года писал Вяземскому в Варшаву: «Петербург душен для поэта; я жажду краев чужих. . . » он сообщал, что окончил, наконец, свою поэму.

«Руслан и Людмила», первая большая поэма Пушкина, явилась литературным событием огромной важности. Уютный карточный домик сентиментального романтизма, сооруженный Жуковским, закачался: воспользовавшись драгоценными уроками самого прекрасного из поэтов, Пушкин применимо их к несравнимо обширнейшей задаче. Он превратил сказку в эпическую поэму, блиставшую необычной живостью и свободой повествования. Карамзин счёл «Руслана» красивым пустячком, назвав его «поэмкой», но Жуковский воспринял эту вещь иначе.

Он подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму “Руслан и Людмила”. 1820, марта 26, Великая пятница». Баратынский оказался не прав в своих опасениях.

В марте в салоне графини Нессельроде происходил такой разговор:

- Вы слышали, что Пушкина ссылают?
- Давно пора! — отвечала графиня Нессельроде, жена управляющего Иностранной коллегией. — Государь был слишком добр к нему.
- Бедный Сергей Львович! — робко сказала княжна Трубецкая, вспомнив, что Пушкин — родня Трубецким.
- Вольно ж ему было так баловать мальчишку! — возразила графиня.

Весь Петербург обсуждал на все лады этот слух. Спорили только об одном, куда сошлют Пушкина — на Соловецкие острова или в Сибирь.

## Из главы «Девочка из Стамбульской кофейни»:

### Пушкин и Софья

Он видел, как бурно дышит грудь Софи и вздрагивают её ноздри.

— «Эвоэ! — и неги глас!» — повторила она шёпотом. — Боже мой, как прекрасно!

И в этот миг, возбужденный романтической красотой и томной грацией, Пушкин потерял самообладание и заключил Софью в свои объятия.

Она торопливо ответила на его поцелуй, но он ощутил, что горячее тело лихорадочно дрожит в его руках. Два огромных глаза на секунду открылись перед ним, страшный взгляд упал в самую его душу и тотчас вновь исчез под густыми ресницами. Она вырвалась, и охрипший, неузнаваемый голос поразил слух влюбленного:

— Vous etes un fou! Laissez-moi tranquille!

Она встала, оправляя прическу. Краска сошла с её лица, уступив место обычной бледности. Пушкин, напротив, сел — он был совершенно сбит с толку.

— Alors, c'est votre fason de conqueror? — язвительно бросила она. — Adieu, le pretre de Bacchus!

Он просидел несколько минут в одиночестве, ошеломленный странностью её метаморфоз. В рассеянности он поднялся и вышел из гостиной. Комната, в которую он попал, была ему незнакома. Желая возвратиться в гостиную, он вновь ошибся дверью.

Это была буфетская; нарядная горничная, звеня связкой ключей, пыталась отпереть буфет. Пушкин остановился в задумчивости, наблюдая за ней. Горничная, наконец, подобрала ключ, отперла буфет и вынула из него бутылку ликёра и рюмку. Она оглянулась, но не заметила Пушкина, стоявшего неподвижно и далеко. Девушка налила рюмку ликёра и принялась его смаковать. Чтобы не мешать её, Пушкин бесшумно пербёсёк буфетную и вышел в тёмный коридор, где горела одна свеча.

Где же лестница? Он пошёл по коридору, ожидая поворота. Небольшая дверь приклевила его внимание. Он открыл её, приподнял тяжелую портьеру. Свет, тепло и тонкие духи ударили по его напряженным нервам. Прямо перед ним перед ним, сплетаясь в поцелую, белели Амур и Психея, с права у большого венецианского зеркала стояла, слегка расставив ноги, Софья Станиславовна и рассматривала своё изображение.

Она была уже переодета. Пушкин видел в зеркале страдальчески-одухотворённое лицо и нежно приоткрытые губы. Раскинув пеньюар,

Софья миho лелеяла руками свою грудь.

Вдруг она встретила в зеркале горящие глаза Пушкина, и пронзительно взвизгнула и исчезла.

Он вышел, весь в огне. Отыскал лестницу, спустился вниз, вырвал у лакея в прихожей шляпу, шубу, трость и бросился вон.

Найдя извозчика, он помчался к себе в Коломну и всю дорогу проклинал свою глупую страсть, которая от этого ничуть не уменьшалась.

### Концовка

— Что же он сказал?

— «Экое кирикуку!»

Пушкин закатился от хохота. Он смеялся так неистово и радостно, сверкая зубами и даже показывая дёсны, что никто не удержался бы от смеха, глядя на него.

Не удержалась старая графиня. Они смеялись до слез, раскачиваясь и хватая друг друга за руки. И вдруг старая графиня упала ему на шею, окутав его целым облаком французских духов. Она обняла его и поцеловала в шею, возле уха. Руки её свидетельствовали о крайней нескромности.

Он даже не слишком удивился: внутренне он предчувствовал нечто подобное. Конечно, великие куртизанки не стареют, никто не дал бы графине её пятидесяти семи лет. . . Но Пушкин страстно не любил смешных положений. Тщетно добиваться любви дочери и взамен получить утешение от матери: «*Ce serait trop redécule*»

И он бежал, отвергнув любовь девочки из стамбульского кофейни, фаворитки Потёмкина и графа прованского, самой блестящей распутницы екатерининского века.

Он бежал утопить в вине досаду отвергнутой любви и забыться в картах и театральных приключениях.

Но странная история с красавицами Потоцкими продиктовала ему один из самых остроумных эпизодов «Руслана и Людмилы» — эпизод Финна и Наимы.

Встретив его в театре, полковник Фёдор Глинка, правая рука Милорадовича спросил:

— Вы уже знаете, что наша обольстительная графиня Потоцкая выиграла свой процесс?

— Вот как!

— Да, решение в её пользу и уже подано на высочайшее утверждение: государь утвердит несомненно.

— Это значит, что ваш патрон счастливее меня, — сказал Пушкин на ухо Глинке.

Тот улыбнулся и погрозил ему пальцем.

Спустя два года Софья Станиславовна Потоцкая вышла замуж за светского знакомого Пушкина — генерала Киселёва, начальника штаба Второй Армии.